



СИМОН
СТРАНГЕР

ЛЕКСИКОН
СВЕТА
И ТЬМЫ

18+

ПЕРЕВОД ОЛЬГИ ДРОБОТ

МИО

А

А как Арест.

А как Агентура.

А как Акция устрашения.

А как Абсолютно всё, потому что всё исчезнет и постепенно забудется. Мысли и чувства. Предметы быта и недвижимое имущество. Всё, что составляло рамку чьей-то жизни. Стул, на котором человек сидел, и кровать, в которой он спал, унесут в новый дом. Другие руки расставят на столе тарелки, другой человек пригубит вино или воду из бокала, прежде чем обернуться к собеседнику в глубине комнаты и продолжить разговор. Вещи с историей утратят роль воплощённой памяти и станут формой без начинки, как концертный рояль в глазах жука или оленя.

Этот день придёт. Последний день каждого из нас придёт, но мы не знаем, когда и как закончится наша жизнь. Я не ведаю, предстоит ли мне превратиться в старика с бледной дряблой кожей, которая висит на костях, как хлебная опара на половнике, и провести свои последние часы в больнице, задыхаясь

от кашля, или в одночасье погибнуть в сорок пять или сорок шесть лет от несчастного случая.

Возможно, меня убьёт упавшая с крыши глыба обледеневшего снега, которую сдвинет с места вибрация, когда на верхнем этаже кто-то вздумает посверлить в ванной пол, или снег подтает из-за слишком тёплого воздуха с моря, медленно поползёт вниз, перевалится через край и пролетит мимо окон на всех этажах дома. Мимо спален, мимо гостиных... и шарахнет меня по темечку, когда я, наклонив голову, буду листать новости в телефоне. От удара мобильник вылетит у меня из руки и будет мерцать на тротуаре рядом с моим телом в полукруге набежавших перепуганных людей. Случайных прохожих, коим внезапно напомнили и показали то, что редко увидишь столь явственно: смерть всегда рядом, она внезапно вырывает человека из жизни посреди его обычных дел.

Еврейская традиция говорит, что человек умирает дважды. Первый раз — когда сердце перестаёт биться и синапсы вырубаются, как если бы во всём городе отключили электричество и пропал свет. А второй и окончательный — когда имя умершего произносят, пишут или вспоминают в последний раз, спустя пятьдесят, сто или четыреста лет после смерти. Только тогда человек исчезает из земной жизни бесповоротно. Этой идеей вдохновился немецкий художник Гюнтер Демниг, ему пришло в голову мысль отливать латунные таблички, писать на них имена евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны, и монтировать эти памятные знаки в тротуар у дома, где жила погибшая семья. Демниг назвал их *камнями преткновения*. Этот художественный объект предотвращает вторую смерть погибших — табличка в асфальте заставляет прохожих склонить голову и прочитать имя

убитого, тем самым художник на десятилетия вперёд сохранил мёртвых в живых и одновременно, латунными шрамами на лице города, каждодневно напоминает нам о той чёрной странице в истории Европы. В разных европейских городах пока что установлено шестьдесят семь тысяч камней преткновения.

Один из них твой.

Один камень преткновения несёт на себе твоё имя, он вделан в тротуар у дома в норвежском городе Тронхейме, где ты жил.

Несколько лет назад мой сын, сидя на корточках перед табличкой в тротуаре, vareжкой смёл с неё остатки латунной крошки и сора и прочитал: «Здесь жил Хирш Комиссар».

Моему сыну на тот момент было десять лет, он один из твоих праправнуков. А твоей праправнучке, моей дочери, той весной было шесть... Она обняла меня за шею. Рикка, моя жена, присела рядом с сыном. Ещё в полукруге людей возле камня преткновения стояли моя тёща Грета и её муж Стейнар.

— Он мой дедушка, — сказала Грета, — а жил он в этом доме, на третьем этаже.

Она повернулась и показала на окна. Ты любил смотреть оттуда на улицу в те, другие времена, когда другие люди, не мы, жили здесь с тобой. Дочка не распляла рук, обнимала меня за шею, а сын читал слова, высеченные на латуни:

здесь жил
ХИРШ КОМИССАР
родился в 1887 году
арестован 12.1.1942
Фалстад
убит 7.10.1942

Грета заговорила о внезапности вторжения, снова рассказала, как её отец утром 9 апреля 1940 года вдруг увидел в городе солдат в сапогах и серых шинелях; они маршировали по улицам, чеканя шаг. Рикка поднялась на ноги, чтобы включиться в разговор, и дочка встала с ней рядом. Только мы с сыном по-прежнему сидели около таблички. Он протёр варежкой нижнюю строчку и поднял на меня глаза.

— Пап, а почему его убили?

— Потому что он был еврей.

— Это да, но почему убили?

Я увидел, что Рикка бросила на него быстрый взгляд, она пыталась участвовать в двух разговорах сразу.

— Ну... Нацисты хотели убить любого, кто хоть чем-то отличался от них. А евреев они ненавидели.

Сын помолчал.

— А мы тоже еврейские люди? — спросил он. Взгляд его коричневых глаз был ясный и сосредоточенный.

Я несколько раз моргнул, пытаясь выиграть время и прикинуть, что ему известно об истории нашей семьи. И что вообще знают мои дети о её еврейской части? Наверняка мы рассказывали им, что их прапрадедушка и бабушка с маминой стороны приехали в Норвегию из России сто с лишним лет назад. И точно говорили с ними о войне и о том, что их прадед Гершон бежал через границу, его они оба застали.

Рикка собралась было что-то сказать, но снова переключилась на разговор с Гретой. Я встретился глазами с сыном.

— Ты норвежец, — сказал я, почувствовал, что это прозвучало предательски, и поймал на себе взгляд

Рикки. — В тебе есть и еврейская кровь, но мы не религиозные, — продолжил я и встал, надеясь, что выскажутся Рикка с Гретой, они-то лучше меня знают, что ответить, но их беседа давно перескочила на другое, повинаясь только им понятной логике ассоциаций, и ушла уже далеко от прежней темы.

Почему его убили?

Вопрос сына преследовал меня месяцами, ответить на него было очень трудно, прошлое спрессовано, придавлено слоями мифов, забывчивость искажает всю картину. И тем не менее. Кое-что я нашёл в архивах, кое-что узнал из разговоров с разными членами семьи, и постепенно события прошлого обрели более ясные очертания.

Теперь я уже мог представить себе занесенный снегом Тронхейм.

Пар изо рта прохожих, бредущих мимо неказистых деревянных домишек.

Довольно быстро выяснилось, что начало конца твоей жизни наступило внезапно, утром самой заурядной среды, посреди твоих обычных дел.

12 января сорок второго года ты стоял за прилавком вашего с женой магазина модной одежды «Париж-Вена», посреди манекенов в шляпках, платьях и пальто. Ты только что встретил первую покупательницу и успел ей рассказать о новых поступлениях и скидках. Зазвонил телефон, так настойчиво, что ты положил сигарету в пепельницу и поднял трубку.

— Магазин «Париж-Вена», слушаю вас, — сказал ты заученно, как говорил тысячи раз до того.

— Гутен морген, — сказал мужчина на том конце провода. — Я говорю с Комиссаром?

— Да, верно, — ответил ты тоже на немецком, в первую секунду решив, что звонят из Гамбурга.

Видимо, по поводу заказа на летние платья, возможно, опять проблемы с таможенной. Никому из тех, с кем ты обычно имел дело, голос не принадлежал, наверно, новый сотрудник.

— Хирш Комиссар, женатый на Марии Комиссар?

— Да... А с кем я говорю?

— Гестапо, служба безопасности.

— Да? Что такое?

Ты поднял глаза от бланка оптового заказа, заметил, что покупательница прислушивается, учуяв неладное, и отвернулся к стене. Кровь резко пульсирует в висках. Гестапо?

— Мы хотим поговорить кое о чем, — отвечает собеседник негромко.

— Да? — только и произносишь ты и замолкаешь в нерешительности. Но потом всё же открываешь рот, чтобы спросить, в чём, собственно, дело, однако не успеваешь.

— Будьте любезны к двум часам явиться на допрос в «Миссионерский отель», — говорит голос.

«Миссионерский отель»? Допрос? С какой стати им вызывать меня на допрос, думаешь ты, глядя в стену перед собой. Неужели из-за Давида, брата Марии, из-за его симпатий к коммунистам?

Из дверного косяка торчит гвоздь без шляпки. Ты приставляешь к нему подушечку большого пальца, и надавливаешь, и закрываешь глаза.

— Алло? — произносит голос с нетерпеливым раздражением. — Вы здесь?

— Да, здесь, — отвечаешь ты, отнимаешь палец от железки и упираешься взглядом в белую точку, где из плоти выступила капля крови. Ты видишь, что покупательница у вешалки с платьями напряглась

и застыла на месте, но снова начинает перебирать их, как только ты поворачиваешься к ней.

— Коллеги говорят, что я беру на себя слишком большой риск, — сообщает голос в трубке, потом щёлкает зажигалка, человек на том конце провода затягивается сигаретой и продолжает: — Что надо просто послать за вами машину и прямо сейчас доставить вас сюда, а то не ровён час вы сбежите, прихватив сыновей, от евреев всего можно ожидать, — мужчина делает ударение на слове «евреи» и произносит тихо, почти доверительно: — Но я-то знаю, что супруга ваша, Мария Комиссар, лежит в больнице. Она, кажется, поскользнулась на льду?

— Да... Несколько дней назад она упала и сломала кость в бедре, — отвечаешь ты, не в силах вспомнить, как это называется по-немецки, вряд ли ты вообще знал такое слово. Но неважно, он и без того тебя понимает.

Угораздило её в такой гололёд пойти на каблучках, думаешь ты. Вот же вечная её беспечность, плюс неременное желание выглядеть элегантно, плюс скверная манера никого не слушать. В ответ на любые попытки намекнуть ей, что надо бы вести себя поосторожнее, например перестать писать в газетах про политику или хотя бы не устраивать дома диспутов на эти темы, Мария только фыркает. Потом у неё мрачнеют глаза, и она всем своим видом даёт понять, что сама разберётся, как ей поступать.

Вот и разобралась, думаешь ты, по-прежнему стоя за прилавком с трубкой в руке, вон чем теперь дело кончилось. Покупательница улыбается тебе и выходит. Звякает дверной колокольчик.

— Да, перелом шейки бедра, — откликается человек без лица на том конце провода, подсказывая

нужное тебе слово. — Короче, мы рассчитываем, что ни вы, ни ваши сыновья не сбежите, иначе нам придётся заняться ею.

Заняться ею. Ты медленно киваешь, хотя собеседник этого не увидит, и говоришь — да, мы не сбежим.

— Хорошо, господин Комиссар. Тогда приходите сюда к двум часам. Вы ведь знаете, куда идти?

— «Миссионерский отель». Я его знаю.

— Приходите. Прощайте.

И щелчок, он положил трубку. А ты стоишь за прилавком, мысли мечутся в голове, как стая вспугнутых птиц, сорвавшихся с дерева, потому что — делать-то теперь что? Смотришь на часы. До двух ещё несколько долгих часов. За это время точно сбежать можно, думаешь ты, и на секунду даже погружаешься в расчёты, как, сгорбившись, прошмыгнуть в подсобку, а оттуда незаметно выйти через склад. Раствориться в узких улочках и бежать, бежать сломя голову, не останавливаясь, не обращая внимания на кровавый вкус во рту, на взгляды прохожих, на ноги, измученные подъёмом в гору. Ты мог бы добежать до леса, скрыться в нём и добраться до Швеции, где преспокойно живёт ваша дочка, Лиллемур. План вполне реальный, думаешь ты, но тут же одёргиваешь себя. А как же Мария? И мальчики ваши, Гершон и Якоб? Я сбегу, займусь ими, думаешь ты, закрывая книгу заказов, потому что если Якоба ещё есть шанс предупредить через одного знакомого в университете, то Гершона уж точно никак. Он со студенческой компанией уехал в горы, на лыжах походить. И что же, он возвращается, а его у общежития караулят гестаповцы? И что они сделают с Марией?

Неужели слухи, которые с недавнего времени ходят в магазинах, синагоге и на застольях, правда?